

## Художественная иконография Пушкина в малой прозе Т. Толстой<sup>1</sup>

Пушкинский миф в творчестве Т. Толстой достаточно подробно изучен в критике и литературоведении; анализ малой прозы автора в этом контексте становится предметом научной рефлексии значительно реже. Между тем концепция пушкинского мифа в ключевом романе «Кысь» (2000) опирается на художественные открытия, сделанные автором в рассказах. Ключевое место в этой парадигме занимают «Сюжет» и «Лимпопо», где представлена шаржированная иконография поэта, включающая в себя основные моменты его биографии: рождение, дуэль, смерть и попытку (ре)инкарнации в реальности XX в. При всех историко-биографических, иронических и трагифарсовых элементах образа «нашего всего» в нем сохраняются неуловимость, тайна, он прочитывается как сила, способная освободить Россию от проклятия революции, вернуть к первоначальному, архаическому смыслу слова. Пушкинский нарратив входит как важнейшая составляющая в повествовательную манеру самой Т. Толстой — от прямых цитаций, реминисценций, аллюзий, травести, палимпсеста до понимания Пушкина как свидетеля русского бытия и культуры, что открывает перспективу более глубокого прочтения и ее собственных текстов.

**Ключевые слова:** пушкинский миф, Т. Толстая, «Сюжет», «Лимпопо».

The Pushkin myth in the works of Tatiana Tolstoy has been studied in sufficient detail in criticism and literary criticism, the analysis of the author's stories in this context becomes the subject of scientific reflection much less often. Meanwhile, the concept of Pushkin's myth in the key novel "Kys" (2000) is based on the artistic discoveries made by the author in the stories. The key place in this paradigm is occupied by the "Plot" and "Limpopo", which presents the cartoon iconography of the poet, including the main points of his biography: birth, duel, death and an attempt (re)incarnation in the reality of the twentieth century. With all the historical and biographical, ironic and tragic elements of the poet's image, he retains elusiveness, mystery, he is read as a force capable of freeing Russia from the curse of the revolution, returning to the original, archaic meanings of poetic utterance as such. Pushkin's narrative is included as the most important component in the narrative manner of T. Tolstoy herself: from direct quotations, reminiscences, allusions, travesties, palimpsest to understanding.

**Keywords:** Pushkin's myth, T. Tolstaya, "Plot", "Limpopo".

### Введение<sup>1</sup>

На сломе эпох и культурных парадигм, как правило, начинается поиск ориентиров, культурного героя, способного ответить на вызовы времени. Сакрализованный традицией образ Пушкина в текстах эпохи постмодерности переживает иронизацию и деканонизацию, отнюдь не утрачивая при этом своей актуальности.

Без преувеличения можно сказать, что Пушкин — центральный персонаж постмодернистской поэзии и постоянный объект деконструкции. Многие в постмодернизме оказались настолько созвучны личности и поэтике Пушкина и поэтов пушкинского круга, что постмодернизм можно считать развитием и нередко доведением до предела того, что заложено и освоено Пушкиным [1. С. 64].

Современная литература, как и прежде, видит в гении «наше всё», но шаржирует иконографию поэта, выделяет иные, чем в классическую пору, грани образа: особенно высоко ценятся дар Пушкина художественно жить, талант «веселого» гения, его умение слышать Другого, контракт, который через Пушкина его усилиями заключен с европейской традицией. При этом тексты, выстраивающие пушкинскую мифологию, зачастую связаны друг с другом взаимными отсылками и реминисценциями. Концепция пушкинского мифа, предложенная Т. Толстой, выделяется и на этом фоне. Ей близок образ Пушкина, созданный М. Цветаевой в очерке «Мой Пушкин» (1937), обретший значение культурного архетипа, через который каждым прочитывается собственный опыт: «“Мой Пушкин” — это мой авторитет, моя система ценностей... “Мой Пушкин” — это ворота в мой духовный мир, это моя вера», — расшифровывает идею В. Непомнящий [2. С. 32].

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке РФН (проект № 23-18-00408); Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского.

Т. Толстая обращается к ключевым сюжетам пушкинской мифологии: *рождению, дуэли, смерти и попытке (ре)инкарнации* поэта в реальности XX в. Рассказы «Факир» (1986), «Поэт и муза» (1986), «Сюжет» (1987), «Лимпопо» (1990) в известной мере выступают преамбулами к знаменитому роману «Кысь» (2000), который подводит итоги русского литературоцентризма, прощит аллюзиями на важнейшие темы, образы мировой истории, литературы в целом. Во всех названных текстах стиль автора, пишет Е. Гошило, отличают «глумливость», сарказм, провокационность, за писательницей закрепились репутация яркого, самобытного художника, который, однако, «непочтителен и ядовит» [3. С. 13]. Т. Толстая — профессиональный филолог — создает собственную мифологию поэта, зашифровывает ее в *текст-палимпсест*, который и предлагает к разгадке посвященному читателю (по Ж. Деррида, «мир есть текст»). Критика не случайно определила такую стратегию как *трикстерскую*: «Автор-трикстер “играючи” уже намекал на этот обман “азбучными” названиями глав» романа [4. С. 53]. Подчеркнем: пушкинский нарратив входит как важнейшая составляющая в повествовательную манеру самой Т. Толстой — от прямых цитаций, реминисценций, аллюзий, травести до понимания Пушкина как *свидетеля* истории русской культуры, что открывает перспективу более глубокого прочтения и ее собственных текстов [5. С. 31–41].

## Пушкин как трикстер в рассказе «Сюжет»

В этом контексте рассказ «Сюжет», развернутый в утопическое будущее, особенно значим: он представляет мифологию Пушкина, выжившего после дуэли с Дантесом, состарившегося, ворчливого, ставшего персонажем своих и чужих текстов, обыгранных в стилистике постмодернизма. Поэт напоминает *кукольного человечка* из ваты, неопрятного, похожего на обезьяну. Последняя параллель отсылает к произведениям М. Цветаевой и «Прогулкам с Пушкиным» (1966–1968) А. Терца, где вместо мемориальной фигуры поэта заявлен образ с трикстерскими чертами: «оскал негра», «африканский самовол» — у Цветаевой, «обезьянообразная харя», «вампир», «привлекательное уродство» — у А. Терца. Аналогия образа Пушкина с *марионеткой из ваты* вполне традиционна:

Мифологические двойники реально существовавшего поэта А.С. Пушкина — это, с одной стороны, «боги» и «герои», наследующие черты классического образа Пушкина (созданного, прежде всего, совместными усилиями Гоголя и Достоевского), с другой — «трикстеры» и «шуты», продолжающие линию пушкинианы Хармса и Синявского [6. С. 43].

В этой перспективе шутовской образ поэта корреспондирует с персонажами-голубчиками из романа «Кысь», где город Федор-Кузьмичск — аналог шапито.

В рассказе поэт, благодаря случайному появлению «непоэтической птички Божией», что «какает на длань злодея», отвлекая внимание Дантеса, оказывается только ранен. Случай изменяет ход русской культуры и истории в целом. Время в тексте двоится, трикстерский сюжет состарившегося, скучающего, всеми забытого Пушкина оттеняет подлинные факты его биографии, в деталях известные. Прием *двойничества* — ключевой для рассказа в целом: герой переживает две дуэли — с Дантесом и юным Володей Ульяновым, испытывает две судьбы, одна из которых суть кривое зеркало для другой. Образ Пушкина травестируется, многократно отражаясь в текстах разной природы (бред, воспоминания, цитаты из мировой классики, авторское повествование и т.д.). В момент ранения на дуэли в затуманенном сознании поэта проносятся образы, обрывки строк из отечественной словесности XIX–XX вв., угадываются здесь фигуры Грибоедова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Белинского, Некрасова, Чехова, Набокова, на которых держится свод классики. Выжив, герой оказывается в другом мире, где его поэзия никому не нужна, он пишет, но тексты «жжет на свечке» — вопреки пророчеству Воланда, рукописи прекрасно горят. В известной мере мотив отлучения от великой литературы, ее шельмование найдет продолжение и в романе «Кысь» [7. С. 85–98]. Миссия поэта в рассказе сосредоточена, однако, не столько на сохранении слова, сколько на спасении истории, которую Пушкин, по мысли автора, только и мог освободить от проклятия революции.

Вторая дуэль поэта, с юным Володей Ульяновым, обретает едва ли не большее значение; встреча происходит в Симбирске, куда герой отправляется за архивными документами для романа о Пугачеве. Сам текст о русском бунте, живущий в сознании Пушкина, выглядит пророчески, через его очертания проступают сполохи революции: «...и там, в архивах, завораживающая новизна, словно не прошлое приоткрылось, а будущее, что-то смутно брезжившее и проступавшее неясными контурами в горячечном мозгу» [8. С. 255]. Будучи в пограничном состоянии, поэт угадывает будущее, но не как роковую неизбежность, а как ситуацию неопределенности, интерес к которой характерен для современной прозы в целом.

После того как юный Володя Ульянов, отмеченный варварскими чертами, «раскосыми», скифскими глазами (в стилистике А. Блока), бросает в поэта снежком, вызов принят, возмездие неизбежно. Вспыльчивый нрав поэта, его известность как бретера учитываются автором:

И Пушкин, вскипая в последний, предсмертный, раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой — наотмашь, по маленькой рыжеватой головке негодая, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам — по чему попало [Там же. С. 256].

В руке гения трость — как стило — связана с мотивом мести не столько за личное оскорбление, сколько за потерянные русской культурой возможности: «За всё, чему нельзя помочь!!!» [Там же. С. 257]. Эта «дуэль» с юным Ульяновым становится для Пушкина смертельной: он падает замертво, «и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом». Описание почерневшего лица поэта отзовется в «Кыси», где изготовленный из дубельта идол Пушкина быстро чернеет под дождями. Семантика параллели *Пушкин — Ленин*, развернутая в рассказе, обыграна в романе как *Пушкин — шеф жандармов Дубельт*.

В рассказе для мальчишки-хулигана стычка, однако, идет «на пользу», он резко меняется, становится банальным царедворцем, консерватором, двойником-антиподом исторического Ленина, выдвигающим проекты преобразования мира в духе Угрюм-Бурчеева («перегородить все реки заборами»), которые содержат и черты реальности: «То столицу предложит в Москву перенести, то распишет “Как нам реорганизовать Сенат и Синод”» [Там же. С. 262]. Т. Толстая обыгрывает мифологию образа Ильича в той же стилистике, сочетая насущные и вымышленные детали. После смерти старика Ульянова «придворный доктор, лейб-медик Боткин из научного любопытства испросил дозволения вскрыть покойному череп» и обнаружил, что «мозг с одной стороны оказался хорошего, мышинового цвета, а с другой — где арап ударил — вообще ничего не было», «чисто» [Там же]. Подлинный исторический факт, связанный с операцией Семашко, констатировавшего после вскрытия атрофию половины головного мозга лидера мирового пролетариата, встраивается в игровой сюжет, становится «доказательством» дуэли, давшей шанс на спасение России от катастрофы.

Травестия фигуры вождя оборачивается «удвоением» истории, ее превращением в шапито, спектакль с трагическим финалом: новым министром внутренних дел назначен г-н Джугашвили. Рассказ датирован июнем 1937 г., отсылающим к юбилею Пушкина как знаку его присвоения властью и периоду ожесточенных репрессий. «В “Правде”, “Литературной газете”, в других изданиях за 1937 г. можно увидеть одно и то же: с левой стороны разворота — материалы о процессе над “врагами народа”, с правой — материалы о пушкинском юбилее», — свидетельствует очевидец [9. С. 6].

## Пушкинская мифология в рассказе «Лимпопо»

Гипотетический вопрос: «Что, если б Пушкин был меж нами?», занимавший русскую интеллигенцию, литераторов (от В. Набокова, А. Синявского, А. Битова, С. Соколова до М. Армалинского, В. Попова, Д.А. Пригова, Т. Кибирова), остается актуальным и в рассказе «Лимпопо» (название отсылает к одноименной поэме К. Чуковского, к его «Айболиту»), который становится претекстом и для романа «Кысь». В отличие от интриги «Сюжета», в «Лимпопо» повествование ведется от первого лица. Нарратор, как alter ego автора, описывает собственную жизнь, будничные ход которой прерывает приезд из Африки чернокожей Джуди, желающей, как новый Айболит,

научиться «лечить зверюшек». «Русский мир» для девушки загадочен, экзотичен, напоминает неведомые пространства, описание которых будет развернуто уже в романе. За время путешествия с географической карты буквально исчезает родина Джуди, объятая войной; никто не может расшифровать значение имени героини, теряются ее личные документы, и в статусе «голового человека» она оказывается в московской коммуналке рассказчицы. Отдельность Джуди происходящему превращает ее в идеального наблюдателя русской жизни. Окрест фигуры героини, отчасти спровоцированные ее визитом, разгораются вечные споры на интеллигентских кухнях о смысле жизни, любви, дружестве и Пушкине — нашей последней надежде.

Поэта решено буквально (ре)инкарнировать. Историческая фигура Пушкина остраивается, двоится, вытесняется идеей «незаконнорожденного» Ганнибала, которого и должны произвести на свет Ленечка и «негр» Джуди. Окружающие, угодившие в свидетели эксперимента, «смотрели, покорно ожидая, пока где-то там, из факта дружбы бездомных народов не завяжется беззаконный младенец Пушкин как последняя наша надежда» [8. С. 326]. Никаких иных предпосылок, кроме того, что Джуди была почти из ганнибаловой Эфиопии, а Ленечка «был поэтом», видел себя борцом за справедливость, вроде бы и не требуется: «А все возможно! Почему нет? Это у них там экзотика, а у нас никогдашеньки ничегошеньки не происходит», — заключает нарратор [Там же. С. 309]. Мифологема африканской родословной поэта особенно акцентируется в XX в. усилиями В. Набокова и Ю. Тынянова, обыгрывающих образ «старого» Пушкина-Ганнибала.

Сама проблема «сберечь последнюю свечу, последнюю букву рассыпанного своего алфавита» прочитывается в рассказе стимулом и оправданием сюжета. Задача сбережения алфавита иронически разрешается автором и в «Кыси», где главы обозначены буквами церковнославянского алфавита как модели бытия. В этом контексте саркастический образ Ленечки, напоминающего незадачливого кролика («Ленечка был <...> небольшим, кривоногим юношей, с баранно-блондинной головой и круглым неплотно закрывающимся ртом битого кролика» [Там же. С. 314]), коррелирует с фигурой графомана Бенедикта — главного героя «Кыси». В этом же ряду дружба Ленечки с *котом* и *белыми мышами*, которые уже в антиутопическом пространстве романа станут опорой всему. Для «ученого кота» герой разработал серию лекций и «проводил практические семинары по воздержанию от мышеедения» [Там же. С. 326]. Отметим, что правители постапокалиптического города-мира в «Кыси», наделенные ярко выраженными кошачьими чертами и повадками, отнюдь не склонны к соблюдению гуманистических принципов, в том числе по отношению к «гороховому народцу», оказавшемуся на положении мышей.

В интригу ожидания «нового Пушкина» втягиваются представители всех слоев общества — от рабочих (Спиридонов), оппозиционной интеллигенции (Ленечка) до номенклатурных работников и кадровых военных (Змеев). Сам Ленечка приказывает брату Васильку «приступить к выпиливанию лобзиком полочки, на которую он поставит сочинения будущего Пушкина» [Там же. С. 321]. Так иронически передан механизм формирования *пушкинской мифологии* в массовой культуре, причем игра с советскими клише перемежается в тексте с подлинными строчками поэта. Ленечка то видит себя в роли Державина, что юного Пушкина заметил и «в гроб сходя благословил», то обыгрывает в своих «усовершенствованных некрологах» строки эпитафии поэта, написанной на смерть сына кн. Волконского: «Малютка Петр, с огнем играя, / Достиг теперь преддверья рая. / Вкушая райский ананас, / Малютка Петр, молись за нас» [Там же. С. 315].

Сам эксперимент, связанный с рождением гениального младенца, окрашен *сакральными* и *инферральными* интенциями одновременно: Джуди появляется «в крепком московском январе под Сретенье»; поэтические воззвания Ленечки на коммунальной кухне перемежаются с пушкинскими цитатами; возникает и образ Серафима: «Соловей хрипит на ветке, гнется дерево под ним; “кукареку”, — вопит в клетке шестикрылый серафим» [Там же. С. 230]. В образе «шестипалого серафима» Бенедикт воплотит «наше всё» в «Кыси». Кухонные посиделки как «ежевечерний шабаш» развернуты и в сторону советского проекта, провал которого приравнивается героями к утрате Пушкина, которому теперь навязываются новые функции, вплоть до роли ревизора:

«Пушкина проорали! — горячился Спиридонов. — Эх, Пушкина бы сюда!..» — «Будет Пушкин! Сделаем Пушкина!» — обещал Ленечка» [Там же. С. 316]. Реинкарнация поэта должна обернуться разрешением всех «проклятых вопросов» русской жизни, обретением смысла бытия:

...этот союз униженных и оскорбленных, уязвленных и отверженных, этот минус, помноженный на минус, даст плюс — курчавый, пузатый, смуглый такой плюс [Там же. С. 317].

«Курчавый, пузатый» — ироническая отсылка к изображению ангелов на полотнах эпохи Возрождения и напоминание о «курчавости» ахматовского «смуглого отрока».

Вопреки всем ожиданиям усилия международных любовников оказываются тщетны: «к лету Пушкина всё еще не было». Драматизм ситуации усиливают простуда и внезапная смерть Джуди, исчезновение Ленечки, «помутившегося в рассудке после Джудиной смерти и бежавшего в леса на четвереньках» [Там же. С. 363]. Побег героя из сюжета напоминает историю перерожденцев из «Кыси», тоже передвигающихся на четвереньках, чьи действия подталкивают мир к катастрофе. Идея эскапизма, движения в светлые дали, где «чистый княжеский воздух», отзовется и в романе: «Княжья Птица Паулин» символизирует здесь райское пространство окрест Терема-библиотеки. В рассказе идея побега предстает одновременно вечной *иллюзией* человечества и *фокусом трикстера*: от себя сбежать невозможно:

...бесконечно бежит Одиссей <...> три сестры бегут в Москву, неподвижно и вечно, как в кошмаре, перебирая шестью ногами и не двигаясь с места, бежит доктор Айболит <...>. Москва, Лимпопо, город Р. или остров Итака — не всё ли одно? [Там же. С. 342].

Идея бега по кругу подчеркнута и композиционно: текст начинает и финализирует мотив похорон. Зачин рассказа означен историей утраченной могилки героини: «Могилку Джуди в прошлом году перерыли и на том месте положили шоссе» [Там же. С. 308], в финале аналогичная судьба уготована и последнему приюту поэта: «...и могила Пушкина заросла густой лебедью!» [Там же. С. 330]. На этом фоне «живее всех живых» оказывается памятник — опекушинский Пушкин: «...опущенное, позеленевшее лицо, до ушей загаженное голубьями мира» [Там же. С. 365]. Такая же участь уготована в романе «Кысь» идолу пушкина-кукушкина, облюбованному «птицами-блядуницами». Сам сюжет разговора с монументом поэта широко представлен в отечественной поэзии — в текстах Маяковского, Есенина, Цветаевой, Бродского... В рассказе по тропе к памятнику бредет постаревшая рассказчица — так осуществляется выход из пределов мифа. В очертаниях «металлического фуляра», «занесенного московскими метелями», проступают «командорское обличье» и тень Медного всадника. В этой роли он, кажется, «поднимет голову, выпростает из-за пазухи руку и благословит всех чохом» [Там же. С. 366], однако строчки поэта теряются из памяти героев.

В контексте пушкинской поэмы бунт Евгения против бездушного государства не получает разрешения, героем овладевает безумие: «И вдруг, удара в лоб рукою, / Захотел». Мысль, явившаяся Евгению, видимо, сводит его с ума, но никому не дано узнать, что за открытие сделал несчастный. Этот прием умолчания «заставляет читателя домысливать за героя, предполагать кощунственные, невыговариваемые смыслы» [10. С. 443], которые каждый прочитывает по-своему. Вызов «маленького человека», брошенный Левиафану, исследователи сопоставляют с восстанием декабристов. «Нева державна, как Петр, безумна и мятежна, как Евгений. Река сопрягает бедного безумца с царем и делает их сравнимыми, сопоставимыми и известными качествами даже “перетекающими” друг в друга» [11. С. 21]. В романе «Кысь» Бенедикт, совершивший с тестем государственный переворот, находит стихотворение Пушкина, написанное по следам декабристского восстания, и угадывает нечто близкое собственному состоянию: «Чего-то все про одно. Видно, тиран себе подборочку готовил. <...> ...На всех стихиях человек — / Тиран, предатель, или узник» [12].

В рассказе Т. Толстой на уровне наррации идея Пушкина как государственного поэта, утвержденная в 1937 г., вытесняет и заменяет образ «веселого гения», что подчеркивает мотив фекалий, сопровождающий монумент. Судьба одинокой рассказчицы в этом контексте соположена как истории бедного Евгения, так и сюжету «негра» Джуди: «Прощай, Джуди, скажу я ей, не ты одна пропала ни за грош, пропадаю и я, все звери моей породы разбежались кто куда» [8. С. 327].

Авторская позиция, однако, сложнее, многомернее: текст пестрит обрывками классических строк «нашего всего», рассказ становится свидетельством их объективизации как почвы, из которой «растут стихи, не ведая стыда».

## Заключение

Образ Пушкина в прозе Т. Толстой в известной степени противостоит непрерывности течения жизни в истории, становясь некой точкой в мироздании, пучком смыслов, само приобщение к которому, пусть и в самых противоречивых контекстах (ироническом, сакральном, мистическом, прагматическом...), определяет полноту бытия в мире и культуре.

### Литература

1. Шеметова Т.Г. Три тенденции в современной литературной «пушкиномании» // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2009. № 4. С. 55–66.
2. Непомнящий В. Феномен Пушкина и исторический жребий России // Пушкин и современная культура: сб. ст. М.: Наследие, 1996. С. 6–61.
3. Гоцилло Е. Взрывоопасный мир Т. Толстой / пер. с англ. Д. Ганцева, А. Ильенкова. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та, 2000. 200 с.
4. Воробьева С. Филологическая рефлексия как средство эстетической самоидентификации автора в прозе Т. Толстой // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 8: Литературоведение. Журналистика. 2012. № 11. С. 53–57.
5. Вайкум Л. Роль пушкинского дискурса в прозе Т. Толстой (на материале романа «Кысь» и сборника рассказов «Не кысь») // Вестник Северо-Восточного федерального университета. 2020. № 4 (78). С. 31–41.
6. Шеметова Т.Г. Биографический миф о Пушкине в русской литературе советского и постсоветского периодов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2011. 48 с.
7. Ковтун Н. Русь «постквадратной» эпохи: (к вопросу о поэтике романа «Кысь» Т. Толстой) // Respectus Philologicus. 2009. No. 15 (20). P. 85–98.
8. Толстая Т. Река Оккервиль: рассказы. М.: Эксмо, 2006. 464 с.
9. Баевский В.С. Вступительное слово // «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»: труды семинара «Творчество А.С. Пушкина в историко-культурном контексте», Смоленск, 10–12 февраля 1998 г. / сост. и ред.: В.С. Баевский, Н.В. Кузина. Смоленск: СГПУ, 1998. 179 с.
10. Виралайнен М. Речь и молчание: сюжеты и мифы русской словесности. СПб.: Пальмира, 2016. 503 с.
11. Боров Ю.Б. «Пушкин — наше все»: (теоретико-литературные уроки Пушкина) // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1999. № 1. С. 12–24.
12. Толстая Т. Кысь. М.: Эксмо: Олимп, 2007. 348 с.

### References

1. Shemetova T.G. Tri tendentsii v sovremennoi literaturnoi «pushkinomanii» // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9: Filologiya. 2009. No. 4. S. 55–66.
2. Nepomnyashchii V. Fenomen Pushkina i istoricheskii zhebbii Rossii // Pushkin i sovremennaiia kul'tura: sb. st. Moscow: Nasledie, 1996. S. 6–61.
3. Goshchilo E. Vzryvoopasnyi mir T. Tolstoi / per. s angl. D. Gantseva, A. Ilenkova. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo gos. un-ta, 2000. 200 s.
4. Vorobyova S. Filologicheskaiia refleksiia kak sredstvo esteticheskoi samoidentifikatsii avtora v proze T. Tolstoi // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 8: Literaturovedenie. Zhurnalistika. 2012. No. 1. S. 53–57.
5. Vaikum L. Rol' pushkinskogo diskursa v proze T. Tolstoi (na materiale romana "Kys'" i sbornika rasskazov "Ne kys' ") // Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta. 2020. No. 4 (78). S. 31–41.
6. Shemetova T.G. Biograficheskii mif o Pushkine v russkoi literature sovetskogo i postsovetskogo periodov: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. Moscow, 2011. 48 s.
7. Kovtun N. Rus' "postkvadratnoi" epokhi: (k voprosu o poetike romana "Kys'" T. Tolstoi) // Respectus Philologicus. 2009. No. 15 (20). P. 85–98.
8. Tolstaya T. Reka Okkervil': rasskazy. Moscow: Eksmo, 2006. 464 s.
9. Baevsky V.S. Vstupitel'noe slovo // "Poka v Rossii Pushkin dlitsia, meteliam ne zadut' svechu": trudy seminar "Tvorchestvo A.S. Pushkina v istoriko-kul'turnom kontekste", Smolensk, 10–12 fevralia 1998 g. / sost. i red.: V.S. Baevsky, N.V. Kuzina. Smolensk: SGPU, 1998. 179 s.
10. Virolainen M. Rech' i molchanie: siuzhety i mify russkoi slovesnosti. St. Petersburg: Pal'mira, 2016. 503 s.
11. Borev Yu.B. "Pushkin — nashe vse": (teoretiko-literaturnye uroki Pushkina) // Vestnik Rossiiskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda. 1999. No. 1. S. 12–24.
12. Tolstaya T. Kys'. Moscow: Eksmo: Olimp, 2007. 348 s.



**Ковтун Наталья Вадимовна,**

доктор филологических наук, профессор  
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева;  
профессор Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского

**Kovtun Natalia V.,**

Doctor of Philology, Professor  
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev;  
Professor F.M. Dostoevsky Russian Christian Humanitarian Academy

ORCID: 0000-0001-6799-4685  
e-mail: nkovtun@mail.ru

